

Глава VI

Гениальные люди, страдавшие умопомешательством

Гаррингтон, Болиан, Кодацци, Ампер, Кент, Шуман, Тассо, Кардано, Свифт, Ньютон, Руссо, Ленау, Шехени, Шопенгауэр

Приведенные здесь примеры аналогичности сумасшествия с гениальностью если и не могут служить доказательством полного сходства их между собою, то по крайней мере убеждают нас в том, что первое не исключает присутствия второй в одном и том же субъекте, и объясняют нам, почему это является возможным.

В самом деле, не говоря уже о многих гениях, страдавших галлюцинациями более или менее продолжительное время, как Андраль, Челлини, Гете, Гоббс, Грасси, или потерявших рассудок в конце своей славной жизни, как, например, Вико и другие, немалое число гениальных людей было в то же время и мономаньяками или всю жизнь находились под влиянием галлюцинаций. Вот несколько примеров такого совпадения.

Мотанус (Motanus), всегда жаждавший уединения и отличавшийся странностями, кончил тем, что считал себя превратившимся в ячменное зерно, вследствие чего не хотел выходить на улицу из боязни, чтобы его не склевали птицы.

Друг Люлли постоянно говорил о нем в его оправдание: "Не обращайтесь на него внимания, он обладает здравым смыслом, он всецело – гений".

Гаррингтон воображал, что мысли вылетают у него изо рта в виде пчел и птиц, и прятался в беседку с метлой в руке, чтобы разгонять их.

Галлер, считая себя гонимым людьми и проклятым от Бога за свою порочность, а также за свои еретические сочинения, испытывал такой ужасный страх, что мог избавляться от него только громадными приемами опия и беседой со священниками.

Ампер сжег свой трактат о "Будущности химии" на том основании, что он написан по внушению сатаны.

Мендельсон страдал меланхолией. Латре в старости сошел с ума. Великий голландский живописец Ван Гог думал, что он одержим бесом.

Уже в наше время сошли с ума Фарини, Бругэм, Соути, Гуно, Говоне, Гуцков, Монж, Фуркруа, Лойд, Купер, Роккиа, Риччи, Феничия, Энгель, Перголези, Нерваль, Батюшков, Мюрже, Б.Коллинз, Технер, Гольдерлин, Фон дер Вест, Галло, Спедальери, Беллинжери, Сальери, физиолог Мюллер, Ленц, Барбара, Фюзели, Петерман, живописец Вит Гамильтон, По, Улих (Uhliche), а также, пожалуй, Мюссе и Боделен.

Знаменитый живописец Фон Лейден воображал себя отравленным и последние годы своей жизни провел не вставая с постели.

Карл Дольче, религиозный липеманьяк (липемания – мрачное помешательство), дает наконец обет брать только священные сюжеты для своих картин и посвящает свою кисть Мадонне, но потом для изображения ее пишет портрет со своей невесты – Бальдуини. В день своей свадьбы он исчез, и после долгих поисков его нашли распростертым перед алтарем Богоматери.

Томмазо Лойд, автор прелестнейших стихотворений, представляет в своем характере странное сочетание злости, гордости, гениальности и психического расстройства. Когда стихи выходили у него не совсем удачными, он опускал их в стакан с водой, "чтобы очистить их", как он выражался. Все, что случалось ему найти в своих карманах или что попадалось ему под руки, – все равно, была ли это бумага, уголь, камень, табак, – он имел обыкновение примешивать к пище и уверял, что уголь очищает его, камень минерализирует и пр.

Гоббс, материалист Гоббс, не мог остаться в темной комнате без того, чтобы ему тотчас же не начали представляться привидения.

Поэт Гольдерлин, почти всю жизнь страдавший умопомешательством, убил себя в припадке меланхолии в 1835 году.

Моцарт был убежден, что итальянцы собираются отравить его. Мольер часто страдал припадками сильной меланхолии. Россини (двоюродный брат которого, идиот, страстно любящий музыку, жив еще и до сих пор) сделался в 1848 году настоящим липеманьяком вследствие огорчения от невыгодной для себя покупки дворца. Он вообразил, что теперь его ожидает нищета, что ему даже придется просить милостыню и что умственные способности оставили его; в этом состоянии он не только утратил способность писать музыкальные произведения, но даже не мог слышать разговоров о музыке. Однако успешное лечение почтенного доктора Сансоне из Анконы мало-помалу снова возвратило гениального музыканта его искусству и друзьям.

На Кларка чтение исторических сочинений производило такое впечатление, что он воображал себя очевидцем и даже действующим лицом давно прошедших исторических событий. Блэк и Баннекер представляли себе действительно существующими фантастические образы, которые они воспроизводили на полотне, и видели их перед собой.

Знаменитый профессор П. тоже нередко подвергался подобным иллюзиям и воображал себя то Конфуцием, то Тамерланом.

Шуман, предвестник того направления в музыкальном искусстве, которое известно под названием "музыки будущего", родившись в богатой семье, беспрепятственно мог заниматься своим любимым искусством и в своей жене, Кларе Вик, нашел нежную, вполне достойную его подругу жизни. Несмотря на это, уже на 24-м году он сделался жертвою липемании, а в 46 лет совсем почти лишился рассудка: то его преследовали говорящие столы, обладающие всеведением, то он видел не дававшие ему покоя звуки, которые сначала складывались в аккорды, а затем и в целые музыкальные фразы. Бетховен и Мендельсон из своих могил диктовали ему различные мелодии. В 1854 году Шуман бросился в реку, но его спасли, и он умер в Бонне. Вскрытие обнаружило у него образование остеофитов – утолщений мозговых оболочек и атрофию мозга.

Великий мыслитель Огюст Конт, основатель позитивной философии, в продолжение десяти лет лечился у Эскироля от психического расстройства и затем по выздоровлении без всякой причины прогнал жену, которая своими нежными попечениями спасла ему жизнь. Перед смертью он объявил себя апостолом и священнослужителем материалистической религии, хотя раньше сам проповедовал уничтожение всякого духовенства. В сочинениях Конта рядом с поразительно глубокими положениями встречаются чисто безумные мысли, вроде той, например, что настанет время, когда оплодотворение женщины будет совершаться без посредства мужчины.

Хотя Мантегацца и утверждает, что математики не подвержены подобным психозам, но и это мнение ложно. Чтобы "убедиться в этом, достаточно вспомнить, кроме Ньютона, о котором я буду говорить более подробно, Архимеда, затем страдавшего галлюцинациями Паскаля и специалиста чистой математики чудака Кодацци. Алкоголик, скупой до скряжничества, равнодушный ко всем окружающим, он отказывал в помощи даже своим родителям, когда те чуть не умирали с голоду. В то же время он был до того тщеславен, что, еще будучи молодым, ассигновал известную сумму на сооружение себе надгробного памятника и не позволял оспаривать своих мнений даже насчет покроя платья. Наконец, помешательство Кодацци выразилось в том, что он придумал способ сочинять музыкальные мелодии посредством вычисления.

Все математики преклоняются перед гениальностью геометра Больяи (Bolyai), отличавшегося, однако, безумными поступками. Так, например, он вызвал на дуэль 13 молодых людей, состоящих на государственной службе, и в промежутках между поединками развлекался игрою на скрипке, составлявшей единственную подвижность в его доме. Когда ему назначили пенсию, он велел напечатать белыми буквами на черном фоне пригласительные билеты на свои похороны и сделал сам для себя гроб (подобные странности я наблюдал еще у двоих математиков, недавно умерших). Через семь лет он снова напечатал второе приглашение на свои похороны, считая, вероятно, первое уже недействительным, и в духовном завещании обязал наследников посадить на его могиле яблоню, в память Евы, Париса и Ньютона. И такие штуки проделывал великий математик, исправивший геометрию Евклида!

Кардано, о котором современники говорили, что это умнейший из людей и в то же время глупый, как ребенок, Кардано, первый из смельчаков, решившийся критиковать Галена, исключить огонь из числа стихий и назвать помешанными колдунов и католических святых, этот великий человек был сам душевнобольным всю свою жизнь. Кстати прибавлю, что сын, двоюродный брат и отец его тоже страдали умопомешательством.

Вот как описывает себя он сам: "Заика, хилый, со слабой памятью, без всяких знаний, я с детства страдал гипнофантастическими галлюцинациями". Ему представлялся то петух, говоривший с ним человеческим голосом, то самый тартар, наполненный костями, и все, что бы ни явилось в его воображении, он мог увидеть перед собой, как нечто действительно существующее, реальное. С 19- до 26-летнего возраста Кардано находился под покровительством особого духа, вроде того, что некогда оказывал услуги его отцу, и этот дух не только давал ему советы, но даже открывал будущее. Однако и после 26 лет сверхъестественные силы не оставляли его без содействия: так, однажды, когда он прописал не то лекарство, какое следовало, рецепт, вопреки всем законам тяготения, подпрыгнул на столе и тем предупредил его об ошибке.

Как ипохондрик, Кардано воображал себя страдающим всеми болезнями, о каких только он слышал или читал: сердцебиением, ситофобией,* опухолью живота, недержанием мочи, подагрой, грыжей и пр.; но все эти болезни проходили без всякого лечения или только вследствие молитв Пресвятой Деве. Иногда ему казалось, что мясо, которое он употреблял в пищу, пропитано серой или растопленным воском, в другое время он видел перед собою огни, какие-то призраки, – и все это сопровождалось страшными землетрясениями, хотя окружающие не замечали ничего подобного.

* Боязнь открытых площадей, широких улиц.

Далее Кардано воображал, что его преследуют и за ним шпионят все правительства, что против него ополчился целый сонм врагов, которых он не знал даже по имени и никогда не видел и которые, как он сам говорит, чтобы опозорить и довести его до отчаяния, осудили на смерть даже нежно любимого им сына. Наконец, ему представилось, что профессора университета в Павии отравили его, пригласив специально для этой цели к себе, так что если он остался цел и невредим, то единственно лишь благодаря помощи св. Мартина и Богородицы. И такие вещи высказывал писатель, бывший в теологии смелым предшественником Дюньюи и Ренана!

Кардано сам сознавался, что обладает всеми пороками – склонен к пьянству, к игре, ко лжи, к разврату и зависти. Он говорит также, что раза четыре во время полнолуния замечал в себе признаки полного умопомешательства.

Впечатлительность у него была извращена до такой степени, что он чувствовал себя хорошо только под влиянием какой-нибудь физической боли, так что даже причинял ее себе искусственно, до крови кусая губы или руки. "Если у меня ничего не болело, – пишет он, – я старался вызвать боль ради того приятного ощущения, какое доставляло мне прекращение боли и ради того еще, что, когда я не испытывал физических страданий, нравственные мучения мои делались настолько сильными, что всякая боль казалась мне ничтожной в сравнении с ними". Эти слова вполне объясняют, почему многие сумасшедшие с каким-то наслаждением причиняют себе физические страдания самыми ужасными способами.*

* Байрон тоже говорил, что перемежающаяся лихорадка доставляет ему удовольствие вследствие того приятного ощущения, каким сопровождается прекращение пароксизма.

Наконец, Кардано до того слепо верил в пророческие сны, что напечатал даже нелепое сочинение "О сновидениях". Он руководствовался снами в самых важных случаях своей жизни, например при подаче медицинских советов, при заключении своего брака, и, между прочим, под влиянием сновидения писал сочинения, как, например, "О разнообразии вещей" и "О лихорадках".*

* "Однажды во сне я услышал прелестнейшую музыку, – говорит он, – я проснулся, и в голове у меня явилось решение вопроса относительно того, почему одни лихорадки имеют смертельный исход, а другие нет, – решение, над которым я тщетно трудился в продолжение 25 лет. Во время сна у меня явилась потребность написать эту книгу, разделенную на 21 часть, и я работал над ней с таким наслаждением, какого никогда прежде не испытывал".

Будучи импотентным до 34 лет, он во сне снова получил способность к половым отправлениям и во сне же ему была указана его будущая подруга жизни, правда, не особенно хорошая, дочь какого-то разбойника, которой, по его словам, он никогда не видел раньше. Эта безумная вера в сновидения до того овладела Кардано, что он руководствовался ими даже в своей медицинской практике, в чем он сам с гордостью сознавался.

Мы могли бы привести из жизни этого гениального безумца еще множество фактов, то забавных и нелепых, то ужасных и возмутительных, но ограничимся одним, соединяющим в себе все эти качества его, – сновидением, касающимся драгоценного камня (gemma).

В мае 1560 года, когда Кардано шел уже 62-й год, сын его был публично признан отравителем. Это несчастье глубоко потрясло бедного старика, и без того не обладавшего душевным спокойствием. Он искренно любил своего сына как отец, доказательством чего служит, между прочим, прелестное стихотворение "На смерть сына", где в такой высокохудожественной форме выражена истинная скорбь, и в то же время он, как самолюбивый человек, надеялся видеть в сыне те же таланты, какими обладал сам. Кроме того, в этом осуждении, еще более усилившем его сумасбродные идеи липеманьяка, несчастный считал виновными своих воображаемых врагов, составивших против него заговор. "Подавленный таким горем, – пишет он по этому поводу, – я тщетно искал облегчения в занятиях, в игре и в физических страданиях, кусая свои руки или нанося себе удары по ногам (мы знаем, что он и раньше прибегал к подобному средству для своего успокоения). Я не спал уже третью ночь и наконец, часа за два до рассвета, чувствуя, что я должен или умереть, или сойти с ума, я стал молиться

Богу, чтобы Он избавил меня от этой жизни. Тогда, совершенно неожиданно, я заснул и вдруг почувствовал, что ко мне приближается кто-то, скрытый от меня окружающим мраком, и говорит: "Что ты сокрушаешься о сыне?.. Возьми камень, висящий у тебя на шее, в рот и, пока ты будешь прикасаться к нему губами, ты не будешь вспоминать сына". Проснувшись, я не поверил, чтобы могла существовать какая-нибудь связь между изумрудом и забвением, но, не зная иного средства облегчить нестерпимые страдания и припомнив священное изречение "Credidit, et reputatum ei est ad justitiam", я взял в рот изумруд. И что же? Вопреки моим ожиданиям, всякое воспоминание о сыне вдруг исчезло из моей памяти, так что я снова заснул. Затем, в продолжение полутора лет я вынимал свой драгоценный камень изо рта только во время еды и чтения лекций, но тогда ко мне возвращались прежние страдания". Странное лечение это основывалось на игре слов (непереводимой по-русски), так как *gioia* – радость и *gemme* – драгоценный камень происходят от одного корня. Сказать по правде, Кардано в этом случае не нуждался даже в откровении, сделанном ему во время сна, потому что еще раньше, основываясь на этимологии, ложно им понятой, он приписывал драгоценным камням благотворное влияние на людей.*

* "Драгоценные камни, представляющиеся нам во сне, имеют символическое значение детей, чего-нибудь неожиданного, даже радостного, потому что по-итальянски слово *gioire* (пользоваться), происходящее от *gemme*, означает в то же время и наслаждаться". Страсть к подобной игре слов мы встречаем у всех маньяков.

На закате своей многострадальной жизни Кардано, подобно Руссо и Галлеру, написал свою автобиографию и предсказал день желанной для него смерти. В назначенный день он действительно умер или, может быть, умертвил себя, чтобы доказать безошибочность своего предсказания.

Познакомимся теперь с жизнью Тассо. Для тех, кому неизвестна брошюрка Верга "Липемания Тассо", мы приводим отрывок из его письма, где он говорит о себе: "Я нахожусь постоянно в таком меланхолическом настроении, что все считают меня помешанным, и я сам разделяю это мнение, так как, не будучи в состоянии сдерживать своих тревожных мыслей, я часто и подолгу разговариваю сам с собою. Меня мучат различные наваждения, то человеческие, то дьявольские. Первые – это крики людей, в особенности женщин, и хохот животных, вторые – это звуки песен и пр. Когда я беру в руки книгу и хочу заниматься, в ушах у меня раздаются голоса, причем можно расслышать, что они произносят имя Паоло Фульвии".

В своем сочинении "Messaggero" ("Посланник" или "Мессия"), сделавшемся впоследствии для Тассо предметом галлюцинаций, он несколько раз признавался, что потерял рассудок вследствие злоупотреблений вином и любовью. Поэтому мне кажется, что он изобразил самого себя в "Tirsi dell'Aminta" и в той прелестной октаве, которую любил повторять другой липеманьяк – Руссо:

Мучимый	страхом,	сомненьем	и	злой,
Должен	я	жить	одиноким	скитальцем,
Вечно	пугаясь	с	безумной	тревогой
Призраков	мрачных	и	грозных	видений,
Созданных	мною	же	самим	в час недуга.
Солнце	напрасно	мне	будет	светить,
В нем	я	увидю	не	брата, не друга,
Но	лишь	помеху	терзаньям	моим...

*В тщетных стараньях уйти от себя,
Вечно останусь с собой я самим.*

Под влиянием галлюцинаций или в припадке бешенства Тассо, схватив однажды нож, бросился с ним на слугу, вошедшего в кабинет тосканского герцога, и был заключен за это в тюрьму. Сообщая об этом факте, посланник, бывший тогда в Тоскане, говорит, что несчастного поэта подвергли заключению скорее с целью вылечить, чем наказать за такой сумасбродный поступок.

После того Тассо постоянно переезжал с места на место, нигде не находя покоя: всюду преследовала его тоска, беспричинные угрызения совести, боязнь быть отравленным и страх перед муками ада, ожидающими его за высказываемые им еретические мнения, в которых он сам обвинял себя в трех письмах, адресованных "слишком кроткому" инквизитору.

"Меня постоянно мучат тяжелые, грустные мысли, – жаловался Тассо врачу Кавалларо, – а также разные фантастические образы и призраки: кроме того, я страдаю еще слабостью памяти, поэтому прошу вас, чтобы к пилюлям, которые вы назначите мне, было прибавлено что-нибудь для ее укрепления". "Со мною случаются припадки бешенства, – писал он Гонзаго, – и меня удивляет, что никто еще не записал, какие вещи я говорю иногда сам с собой, по своему произволу наделяя себя при этом воображаемыми почестями, милостями и любезностями со стороны простых людей, императоров и королей".

Это странное письмо служит доказательством, что мрачные мучительные мысли перемежались у Тассо с забавными и веселыми. К сожалению, первые являлись гораздо чаще, как он прекрасно выразил это в следующем сонете:

*Я устал бороться с толпою теней
Печальных и мрачных иль светло-прекрасных,
Моей ли фантазии жалких детей,
Иль вправду врагов мне опасных?
Найду ли я сил победить их один,
Беспомощный, слабый отшельник, –
Не знаю, но страх надо мной властелин,
Не он ли и есть мой волшебник!*

В последних строках заметно сомнение в действительности вызванных бредом галлюцинаций, что служит доказательством, как упорно боролся этот мощный, привыкший к логическому мышлению ум с болезненными, нелепыми представлениями. Но увы! Такие сомнения являлись слишком редко.

Через несколько времени Тассо писал Каттанео:

Упражнения нужнее теперь для меня, чем лекарство, потому что болезнь моя сверхъестественного происхождения. Скажу несколько слов о домовом: этот негодяй часто ворует у меня деньги, производит полнейший беспорядок в моих книгах, открывает ящики и таскает ключи, так что, уберечься от него нет никакой возможности. Я мучусь постоянно, в особенности по ночам и знаю, что страдания мои обуславливаются помешательством (frenesia).

В другом письме он говорит:

Когда я не сплю, мне кажется, что передо мной мелькают в воздухе яркие огни, и глаза у меня бывают иногда до того воспалены, что я боюсь потерять зрение; в другое время я слышу страшный грохот, свист, дребезг, звон колоколов и такой неприятный

шум, как будто от боя нескольких стенных часов. А во сне я вижу, что на меня бросается лошадь и опрокидывает на землю или что я весь покрыт нечистыми животными. После этого все члены у меня болят, голова делается тяжелой, но вдруг посреди таких страданий и ужасов передо мною появляется образ Святой Девы, юной и прекрасной, держащей на руках своего сына, увенчанного радужным сиянием.

По выходе из больницы он рассказывал тому же Каттанео, что "домовой" распространяет письма, в которых сообщаются сведения о нем, Тассо.

Я считаю это, – говорил он, – одним из тех чудес, какие нередко бывали со мной и в больнице: без сомнения, это дело какого-нибудь волшебника, на что у меня есть немало доказательств, и в особенности тот факт, что однажды, в три часа, у меня на глазах исчез куда-то мой хлеб.

Когда Тассо захворал горячкой, его излечила Богородица своим появлением, и в благодарность ей за это он написал сонет, напоминавший собою "Messaggero". Дух являлся несчастному поэту в такой осязательной форме, что он говорил с ним и чуть только не прикасался к нему руками. Этот дух вызывал в нем идеи, раньше, по его словам, не приходившие ему в голову.

Свифт, отец иронии и юмора, уже в своей молодости предсказал, что его ожидает помешательство; гуляя однажды по саду с Юнгом, он увидел вяз, на вершине своей почти лишенный листьев, и сказал: "Я точно так же начну умирать с головы". До крайности гордый с высшими, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил время в обществе картежников. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили, что, прежде чем дать ему сан епископа, его следует снова окрестить. Слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный относительно друзей – так охарактеризовал он сам себя. Непоследовательность в нем была удивительная: он приходил в страшное отчаяние по поводу смерти своей нежно любимой Стеллы и в то же самое время сочинял комические письма "О слугах". Через несколько месяцев после этого он лишился памяти, и у него остался только прежний резкий, острый как бритва язык. Потом он впал в мизантропию и целый год провел один, никого не видя, ни с кем не разговаривая и ничего не читая; по десяти часов в день ходил по своей комнате, ел всегда стоя, отказывался от мяса и бесился, когда кто-нибудь входил к нему в комнату. Однако после появления у него чирьев (вереда) он стал как будто поправляться и часто говорил о себе: "Я сумасшедший", но этот светлый промежуток продолжался недолго, и бедный Свифт снова впал в бессмысленное состояние, хотя проблески иронии, сохранившейся в нем даже и после потери рассудка, еще вспыхивали порою; так, когда в 1745 году устроена была в честь его иллюминация, он прервал свое продолжительное молчание словами: "Пускай бы эти сумасшедшие хотя не сводили других с ума".

В 1745 году Свифт умер в полном расстройстве умственных способностей. После него осталось написанное задолго перед этим завещание, в котором он отказал 11000 фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Сочиненная им тогда же для себя эпитафия служит выражением ужасных нравственных страданий, мучивших его постоянно: "Здесь лежит Свифт, сердце которого уже не надывается больше от гордого презрения".

Ньютон, покоривший своим умом все человечество, как справедливо писали о нем современники, в старости тоже страдал настоящим психическим расстройством, хотя и не настолько сильным, как предыдущие гениальные люди. Тогда-то он и написал, вероятно, "Хронологию", "Апокалипсис" и "Письмо к Бентлею", сочинения туманные, запутанные и совершенно не похожие на то, что было написано им в молодые годы.

В 1693 году, после второго пожара в его доме и после непомерно усиленных занятий, Ньютон в присутствии архиепископа начал высказывать такие странные, нелепые суждения, что друзья нашли нужным увезти его и окружить самым заботливым уходом. В это время Ньютон, бывший прежде до того робким, что даже в экипаже ездил не иначе, как держась за ручки дверец, затеял дуэль с Вилларом, желавшим драться непременно в Севеннах. Немного спустя он написал два приводимых ниже письма, сбивчивый и запутанный слог которых вполне доказывает, что знаменитый ученый совсем еще не оправился от овладевшей им мании преследования, которая действительно развилась у него снова несколько лет спустя. Так, в письме к Локку он говорит:

Предположив, что вы хотите запутать (embrilled) меня при помощи женщин и других соблазнов, и заметив, что вы чувствуете себя дурно, я начал ожидать (желать) вашей смерти. Прошу у вас извинения в этом, а также в том, что я признал безнравственными как ваше сочинение "Об идеях", так и те, которые вы издадите впоследствии. Я считал вас последователем Гоббса. Прошу вас извинить меня за то, что я думал и говорил, будто вы хотели продать мне место и запутать меня. Ваш злополучный Ньютон.

Несколько определеннее он говорит о себе в письме к Пеппи:

С приближением зимы все привычки мои перепутались, затем болезнь довела эту путаницу до того, что в продолжение двух недель я не спал ни одного часа, а в течение последних пяти дней даже ни одной секунды (какая математическая точность). Я помню, что писал вам, но не знаю, что именно; если вы пришлете мне письмо, то я вам объясню его.

Ньютон находился в это время в таком состоянии, что, когда у него спрашивали разъяснения по поводу какого-нибудь места в его сочинениях, он отвечал: "Обратитесь к Муавру – он смыслит в этом больше меня".

Кто, не бывши ни разу в больнице для умалишенных, пожелал бы составить себе верное представление о душевных муках, испытываемых липеманьяком, тому следует только прочесть сочинения Руссо, в особенности последние из них – "Исповедь", "Диалоги" и "Прогулки одинокого мечтателя" ("Réveries").

Я обладаю жгучими страстями, – пишет Руссо в своей "Исповеди", – и под влиянием их забываю о всех отношениях, даже о любви: вижу перед собою только предмет своих желаний, но это продолжается лишь одну минуту, вслед за которой я снова впадаю в апатию, в изнеможение. Какая-нибудь картина соблазняет меня больше, чем деньги, на которые я мог бы купить ее! Я вижу вещь... она мне нравится; у меня есть и средства приобрести ее, но нет, это не удовлетворяет меня. Кроме того, когда мне нравится какая-нибудь вещь, я предпочитаю взять ее сам, а не просить, чтобы мне ее подарили.

В том-то и состоит различие между клептоманом* и обыкновенным вором, что первый крадет по инстинкту, в силу потребности, второй – по расчету, ради приобретения: первого прельщает всякая понравившаяся ему вещь, второго же – только вещь ценная.

* Клептомания – болезненная страсть к воровству.

Будучи рабом своих чувств, – продолжает он, – я никогда не мог противостоять им; самое ничтожное удовольствие в настоящем больше соблазняет меня, чем все утехи рая.

И действительно, ради удовольствия присутствовать на братском пиршестве (отца Понтьера) Руссо сделался вероотступником, а вследствие своей трусости без сострадания покинул на дороге своего приятеля-эпилептика.

Однако не одни страсти его отличаются болезненной пылкостью – самые умственные способности были у него с детства и до старости в ненормальном состоянии, доказательства чего мы тоже встречаем в "Исповеди", как, например:

Воображение разыгрывается у меня тем сильнее, чем хуже мое здоровье. Голова моя так устроена, что я не умею находить прелесть в действительно существующих хороших вещах, а только в воображаемых. Чтобы я красиво описал весну, мне необходимо, чтобы на дворе была зима.

Отсюда становится понятным, почему Свифт, тоже помешанный, писал самые веселые из своих писем во время предсмертной агонии Стеллы и почему как он, так и Руссо с таким мастерством изображали все нелепое.

Реальные страдания оказывают на меня мало влияния, – продолжает Руссо, – гораздо сильнее мучусь я теми, которые придумываю себе сам: ожидаемое несчастье для меня страшнее уже испытываемого.

Не потому ли некоторые из боязни смерти лишают себя жизни?

Стоило Руссо прочесть какую-нибудь медицинскую книгу – и ему тотчас же представлялось, что у него все болезни, в ней описанные, причем он изумлялся, как он остается жив, страдая такими недугами. Между прочим, он воображал, что у него полип в сердце. По его собственному объяснению, такие странности являлись у него вследствие преувеличенной, ненормальной чувствительности, не имевшей правильного исхода.

Бывает время, – говорит он, – когда я так мало похож на самого себя, что меня можно считать совершенно иным человеком. В спокойном состоянии я чрезвычайно робок, идеи возникают у меня в голове медленно, тяжело, смутно, только при известном возбуждении; я застенчив и не умею связать двух слов; под влиянием страсти, напротив, я вдруг делаюсь красноречивым. Самые нелепые, безумные, ребяческие планы очаровывают, пленяют меня и кажутся мне удобоисполнимыми. Так, например, когда мне было 18 лет, я отправился с товарищем путешествовать, захватив с собою фонтанчик из бронзы, и был уверен, что, показывая его крестьянам, мы не только прокормимся, но даже разбогатеем.

Несчастный Руссо перепробовал почти все профессии, от высших до самых низших, и не остановился ни на одной из них: он был и вероотступником (ренегатом) из-за денег, и часовщиком, и фокусником, и учителем музыки, и живописцем, и гравером, и лакеем, и, наконец, чем-то вроде секретаря при посольстве.

Точно так же в литературе и в науке он брался за все отрасли, занимаясь то медициной, то теорией музыки, то ботаникой, теологией и педагогией. Злоупотребление умственным трудом (особенно вредное для мыслителя, идеи которого развивались туго и с трудом), а также все увеличивающееся самолюбие сделали мало-помалу из ипохондрика меланхолика и наконец – настоящего маньяка.

Волнение и злоба потрясли меня до такой степени, – говорит он, – что я в течение десяти лет страдал бешенством и успокоился только теперь.

Успокоился! Когда хроническое умственное расстройство не позволяло ему, даже на короткий срок, найти границу между действительными страданиями и воображаемыми.

Ради отдохновения он покинул большой свет, где всегда чувствовал себя неловко, и удалился в уединенную местность, в деревню: но и там городская жизнь не давала ему покоя: болезненное тщеславие и отголоски светского шума омрачали для него красоту природы. Тщетно Руссо старался убежать в леса – безумие следовало туда за ним и настигало его всюду.

Таким образом, Руссо являлся как бы олицетворением того образа, который создал Тассо в своей октаве:

*...и скраться от себя стараясь,
Всегда останусь я с самим собой.*

Вероятно, он и намекал на это стихотворение, когда уверял Корансе (Corancez), что считает Тассо своим пророком. Потом несчастный автор "Эмиля" начал воображать, что Пруссия, Англия, Франция, короли, женщины, духовенство, вообще весь род людской, оскорбленный некоторыми местами его сочинений, объявили ему ожесточенную войну, последствиями которой и объясняются испытываемые им душевные страдания.

В своей утонченной жестокости, – пишет он, – враги мой забыли только соблюдать постепенность в причиняемых мне мучениях, чтобы я мог понемногу привыкнуть к ним.

Самое большое проявление злобы этих коварных мучителей Руссо видит в том, что они осыпают его похвалами и благодеяниями. По его мнению, "им удалось даже подкупить продавцов зелени, чтобы они отдавали ему свой товар дешевле и лучшего качества, – наверное, враги сделали это с целью показать его низость и свою доброту".

По приезде Руссо в Лондон его меланхолия перешла в настоящую манию. Вообразив, что Шуазель разыскивает его с намерением арестовать, он бросил в гостинице деньги, вещи и бежал на берег моря, где платил за свое содержание кусками серебряных ложек. Так как ему не удалось тотчас же уехать из Англии по случаю противного ветра, то он и это приписал влиянию заговора против него. Тогда, в сильнейшем раздражении, он с вершины холма произнес на плохом английском языке речь, обращенную к сумасшедшей Вартон, которая слушала его с изумлением и, как ему казалось, с умилением.

Но и по возвращении во Францию Руссо не избавился от своих невидимых врагов, шпионивших за ним и объяснявших в дурную сторону каждое его движение.

Если я читаю газету, – жалуется он, – то говорят, что я замышляю заговор, если понюхаю розу – подозревают, что я занимаюсь исследованием ядов с целью отравить моих преследователей.

Все ставится ему в вину, а чтобы лучше наблюдать за ним, у двери его дома помещают продавца картин, устраивают так, что эта дверь не запирается, и пускают в дом его посетителей только тогда, как успеют возбудить в них ненависть к нему. Враги восстанавливают против него содержателя кафе, парикмахера, хозяина гостиницы и пр. Когда Руссо желает, чтобы ему почистили башмаки, у мальчика, исполняющего эту обязанность, не оказывается ваксы; когда он хочет переехать через Сену – у перевозчиков нет лодки. Наконец, он просит, чтобы его заключили в тюрьму, но... даже в этом встречает отказ. С целью отнять последнее оружие – печатное слово – враги арестуют и сажают в Бастилию издателя, совершенно ему незнакомого.

Обычай сжигать во время поста соломенное чучело, изображавшее того или другого еретика, был уничтожен – его снова восстановили, конечно, для того, чтобы сжечь мое изображение; и в самом деле, надетое на чучело платье походило на то, что я ношу обыкновенно.

В деревне Руссо встретил раз улыбающегося, ласкового мальчика; но, повернувшись, чтобы в свою очередь приласкать его, он вдруг увидел перед собою взрослого мужчину и по его печальной физиономии (обратите внимание на этот странный эпитет) узнал в нем одного из приставленных к нему врагами шпионов.

Под влиянием мании, считая себя гонимым, он написал "Диалоги: Руссо судит Жан Жака", где, с целью смягчить несметное множество преследующих его врагов, подробно и тщательно изобразил свои галлюцинации. Чтобы распространить в публике это оправдательное сочинение, несчастный безумец начал раздавать экземпляры его на улице всем прохожим, судя по лицу которых можно было думать, что они не находятся под влиянием не дающих ему покоя недругов.

В этом сочинении он обращается ко всем французам, поклонникам справедливости, но – странное дело! – несмотря на такой лестный эпитет, а может быть, именно благодаря ему не нашлось ни одного человека, который принял бы эту брошюрку с удовольствием; напротив, многие отказывались взять ее! Убедившись тогда, что ему нечего ждать на земле от людей, Руссо, подобно Паскалю, обратился с письмом, очень нежно и фамильярно написанным, к самому Богу, а чтобы оно вернее достигло своего назначения и принесло ожидаемую пользу, положил его и рукопись "Диалогов" под алтарь церкви Богородицы в Париже, как будто, по представлению этого маньяка, Создатель вселенной, отвлеченное, вездесущее Божество, только и может находиться под сводами парижского собора.

На основании всех этих фактов нельзя не признать справедливым мнение Вольтера и Корансе, что Руссо "был сумасшедший и сам всегда сознавался в этом". К тому же из многих мест "Исповеди", а также из писем Грима видно, что у Руссо, кроме других болезней, был еще паралич мочевого пузыря и сперматорея (непроизвольное истечение семени), что, по всей вероятности, обуславливалось поражением спинного мозга и должно было, без сомнения, усиливать припадки меланхолии.

Вся жизнь величайшего из современных лирических поэтов, Ленау, недавно скончавшегося в Доблинговой больнице для умалишенных, представляет с самого раннего детства смесь гениальности и сумасшествия. Отец его был знатный барин, гордый и порочный, а мать – до крайности впечатлительная особа, страдавшая меланхолией и зараженная аскетизмом. Ленау с детства обнаруживал меланхолическое настроение, склонность к мистицизму и любовь к музыке. Этой последней он занимался всего охотнее, хотя изучал также медицину, юриспруденцию и сельское хозяйство. В 1831 году Кернер заметил, что настроение его почти постоянно было печальное, меланхолическое и что он проводит целые ночи один в саду, играя на своем любимом инструменте. Через несколько времени Ленау писал своей сестре: "Я чувствую, что приближаюсь к своей гибели: демон безумия овладел моим сердцем, я – сумасшедший; говорю тебе это, сестра, зная, что ты все-таки по-прежнему будешь любить меня". Этот демон скоро принудил его оставить Германию и отправиться, почти без всякой цели, в Америку. По возвращении оттуда он был встречен на родине празднествами и всеобщим восторгом, но, по его словам, "ипохондрия глубоко запустила свои зубы в его сердце и ничто не могло его развеселить". Вскоре это бедное сердце начало страдать и физически: у Ленау сделался перикардит (воспаление сердечной оболочки), от которого он потом уже не мог вылечиться. С тех пор несчастный страдалец лишился своего лучшего друга – сна, этого единственного избавителя от невыносимых страданий, и по целым ночам мучился страшными видениями.

Можно подумать, – объясняет он свое состояние образами, как это делают все помешанные, – можно подумать, что дьявол устраивает охоту у меня в животе: я слышу там постоянный лай собак и зловещий адский шум. Без шуток – есть от чего прийти в отчаяние!

Мизантропия, которой, как мы уже видели, страдали Галлер, Свифт, Кардано и Руссо, появилась у Ленау в 1840 году со всеми признаками мании. Он стал бояться,

ненавидеть и презирать людей. В Германии в честь его устраивали празднества, воздвигали триумфальные арки, а он бежал прочь из нее и бесцельно скитался по свету; раздражение и злоба нападали на него без всякой причины, он чувствовал себя неспособным к работе, как человек, по его собственным словам, "с поврежденным черепом", и потерял аппетит. Болезненная склонность к мистицизму, обнаружившаяся в нем с детства, появилась у него снова: он принялся за изучение гностиков, начал перечитывать биографии колдунов, так пленявшие его в молодости, выпивал громадные количества кофе и ужасно много курил.

Замечательно, — сознавался он, — до какой степени физическое движение и в особенности курение сигар вызывает у меня в голове целый рой новых мыслей.

Он писал ночи напролет, переезжал с места на место, путешествовал... женился, задумывал громадные работы и ни одной из них не довел до конца.

Это были последние вспышки великого ума. С 1844 года Ленау все чаще жалуется на головные боли, постоянный пот и страшную слабость. "Света, света недостает мне", — писал он. Немного спустя у него сделался паралич левой руки, мускулов глаз и обеих щек; он стал писать с орфографическими ошибками и употреблять нелепые созвучия. Наконец (12 октября) им вдруг овладела страсть к самоубийству; когда его удержали от покушения на свою жизнь, он впал в бешенство, дрался, ломал все, жег свои рукописи, но мало-помалу успокоился, пришел в нормальное состояние и даже написал тщательный анализ своего припадка в стихотворении "Traumgewalte" ("Во власти бреда"), представляющем нечто ужасное, хаотическое. Это был последний луч света, озаривший для него ночной мрак, или, как метко выразился Шиллинг, — последняя победа гения над помешательством. Здоровье Ленау все ухудшалось; после новой попытки лишить себя жизни им овладело то роковое состояние довольства и приятного возбуждения, которое всегда предшествует прогрессивному развитию паралича.

Я наслаждаюсь теперь жизнью, — говорил он, — наслаждаюсь потому, что прежние ужасные видения сменились теперь светлыми, прелестными образами.

Ему представлялось, что он находится в Валгале вместе с Гете, или он воображал себя королем Венгрии, победителем во многих битвах, причем доказывал свои права на венгерский престол.

В 1845 году он потерял обоняние, всегда отличавшееся у него необыкновенной тонкостью, сделался равнодушным к своим любимым цветам — фиалкам и даже перестал узнавать старых друзей.

Однако и в этом печальном положении Ленау написал одно стихотворение, хотя и проникнутое крайним мистицизмом, но не лишенное прежней античной прелести стиха. Однажды, когда его подвели к бюсту Платона, он сказал: "Вот человек, который выдумал глупую любовь". В другой раз, услышав, что о нем сказал кто-то: "Здесь живет великий Ленау", он заметил на это: "Теперь Ленау сделался совсем маленьким" и долго плакал потом. Он умер 21 августа 1850 года. Последние его слова были: "Несчастный Ленау". Вскрытие обнаружило у него только немного серозной жидкости в желудочках мозга и следы воспаления сердечной оболочки.

В той же больнице Доблинга умер несколько лет тому назад другой великий человек — венгерский патриот Сечени, организатор судоходства по Дунаю, основатель Мадьярской Академии и главный деятель революции 1848 года. Во время торжества ее, будучи министром, он вдруг стал однажды просить своего товарища, тоже министра, Кошута, чтобы тот не приговаривал его к виселице. Сначала все приняли это за шутку, но — увы! — шутки тут не было... Предвидя бедствия, грозившие его родине, и несправедливо считая себя виновником их, Сечени впал в манию преследования, которая

вскоре перешла в страсть к самоубийству. Когда Сечени несколько успокоился, на него напала болтливость чисто патологического свойства, особенно странная в дипломате и заговорщике, так что стоило ему только встретить кого-нибудь в больнице – все равно, был ли это идиот, сумасшедший или злейший враг его родины – и он тотчас же вступал с ним в длиннейшие рассуждения, причем обвинял себя во всевозможных выдуманных им преступлениях. В 1850 году у него явилась прежняя страсть к шахматной игре, но и она приняла характер мании: пришлось нанять бедного студента, который играл с ним в шахматы по 10-12 часов кряду. На студента это подействовало так дурно, что он сошел с ума, но состояние самого Сечени улучшилось: он стал менее нелюдим, чем прежде, когда не мог без отвращения видеть даже своих близких родных.

Из болезненных признаков у него осталось только отвращение к ярко освещенным полям, нежелание выходить из своей комнаты и склонность к одиночеству, так что даже нежно любимых им сыновей он допускал к себе лишь по несколько раз в месяц. Во время этих редких посещений он усаживал дорогих гостей у стола, около себя, и читал им свои произведения. Но выманить его самого в парк стоило всегда чрезвычайных усилий. Несмотря на душевную болезнь, Сечени не только сохранил полную ясность мысли, но ум его как будто приобрел еще большую мощь. Он внимательно следил за литературными новостями Германии и Венгрии и жадно ловил каждый признак улучшения в судьбе своей родины. Когда вследствие австрийской интриги замедлилось окончание постройки восточной железной дороги, проложенной благодаря усилиям этого великого патриота, он написал Зичи (Zichy) письмо, уже по одному маленькому отрывку из которого можно судить о том, какой глубокий мыслитель был Сечени:

Все, некогда существовавшее в мире, не исчезает из него, но появляется в другой форме, при других условиях. Разбитая бутылка, конечно, уже не годится для своего прежнего назначения, но эти жалкие осколки не уничтожаются и, будучи положены в горн, могут еще превратиться в новый сосуд, где заблестит царское вино – токай, тогда как раньше бутылка, может быть, заключала в себе плохое вино... Для венгерца нет большей похвалы, как если о нем скажут, что он остался непоколебим. Ты знаешь, милый друг, наш старинный девиз: "Стоять твердо даже в грязи", – останемся же верны ему, несмотря на упреки наших братьев, и будем работать для общего блага. Удержаться на своем посту, посреди комьев грязи, бросаемых в лицо братьев и товарищей по оружию легкомысленными или фанатичными патриотами, упрямо удерживать за собою раз занятый пост, хотя бы сердце надрывалось при этом от оскорблений, – вот лозунг и пароль нашего времени.

В 1858 году, когда австрийский министр стал оказывать давление на Венгерскую Академию с целью добиться уничтожения того параграфа, по которому разработка мадьярского языка считалась ее главным назначением, Сечени написал другое письмо, отлично рисующее возвышенный характер этого патриота.

Могу ли я молчать, – пишет он, – видя, как уничтожается засеянная мною нива? Могу ли я забыть услуги, оказанные нам этим могущественным учреждением? Я предлагаю этот вопрос, я – страдающий совсем не помрачением рассудка, но роковой способностью видеть слишком ясно, слишком отчетливо, не обманывая себя никакими иллюзиями. Разве я не обязан забить тревогу, когда вижу, что наше правительство (династия), под влиянием каких-то злобных наветов, с ожесточением преследует самый живучий из подвластных ему народов, народ, которому судьба готовит великую будущность? Его хотят не только уничтожить, но задушить, отнять у него все характеристические особенности, вырвать с корнем вековое имперское дерево. Как основатель этой Академии, я должен возвысить теперь свой голос. Пока голова держится

у меня на плечах, пока ум мой еще не окончательно омрачился и глаза мои не покрылись вечным мраком, я буду твердо стоять на том, что право изменять устав Академии принадлежит мне. Император наш рано или поздно придет к тому убеждению, что слить в одно целое, ассимилировать все народы, живущие в подвластном ему государстве, есть не что иное, как утопия, придуманная его министрами; наступит время, когда все эти народы отделятся от империи и только одни венгерцы, не имеющие расового сродства с другими европейскими нациями, будут стремиться достигнуть предназначенного им судьбою развития под охраной королевской династии.

Это было в 1858 году. На следующий год, еще до разгара войны, Сечени предсказывал ее неудачный исход и результаты. "Кризисы обыкновенно оканчиваются выздоровлением, – говорил он, – если только болезнь излечима". Около этого времени была издана им в Лондоне книга, где в странной, юмористической, но вместе с тем и мрачной форме он рассказывает, какие бедствия испытала Венгрия под железным управлением Баха, очерчивает будущность ее и советует держаться политики соглашения, примирения с Австрией, но не подчинения ей.

В сущности, это жалкая ничтожная книжонка, – говорил он о своем труде, – но знаете ли вы, как образовался остров Маргариты? Согласно древнему преданию, на том месте, где он теперь находится, протекал прежде Дунай; каким-то образом на дно его попала однажды падаль и застряла в песке; и вот около нее постепенно стал образовываться остров. Моя книга есть тоже нечто вроде этой падали, – кто знает, что может выйти из нее со временем!

Через несколько месяцев Баха сменил Гюбнер, и либеральная система управления была впервые введена в Венгрии. Бедный Сечени не помнил себя от восторга; из своего скромного убежища он поддерживал нового министра, посылал ему проекты реформ, сочинял и редактировал планы возрождения Австрии, не забывая, конечно, при этом и свою родную Венгрию.

Многие из великих австрийских государственных деятелей приезжали тогда к нему за советами и черпали вдохновение в его умной беседе. К несчастью, восторг слишком скоро сменился разочарованием: место Гюбнера занял Тьерри, бездарный ученик Баха, приверженец старой системы и прежних австрийских порядков: все реформы были тотчас же отложены в долгий ящик.

Трудно представить, в какое отчаяние пришел несчастный Сечени, узнав об этом... Он зовет к себе Рехберга, просит его предупредить, пока еще есть время, императора об ошибочности такого образа действий и предлагает программу двух отдельных конституций для Австрии и Венгрии; согласно этой программе внутренние вопросы должны были разрешаться каждым государством отдельно, внешние же, касающиеся блага всей империи, – сообща. Однако Рехберг не обладал прозорливостью гениального безумца Сечени и сказал, покачивая головой: "Сейчас видно, что эта программа написана в доме умалишенных". Мало того, министр Тьерри, заподозрив в великом мадьярском патриоте простого заговорщика, посылает отряд жандармов произвести у него в больнице обыск, грозит ему тюремным заключением и велит отнять у него даже любимые бумаги.

Несчастный безумец, умопомешательство которого проявлялось лишь в неудержимой потребности быть полезным своей родине и в мучительном сознании, что он недостаточно много работал для нее, убедился теперь, что для него закрыты все пути к деятельности, и в порыве отчаяния, после неудачной попытки заглушить жгучие страдания непрерывной игрой в шахматы, наконец лишил себя жизни выстрелом из револьвера. Это было 8 апреля 1860 года, а в 1867 году император Франц Иосиф I

сделался королем Венгрии, осуществив все, о чем мечтал погибший в больнице Доблинга безумец, и Рехбергу, осмеявшему составленную им программу, поручено было применить ее на практике.

Известно, что Гофман, самый причудливый из поэтов, обладал замечательными способностями не только к поэзии, но также к рисованию и музыке; он является творцом особого рода фантастической поэзии, хотя рисунки его всегда переходили в карикатуры, рассказы отличались несообразностью, а музыкальные произведения представляли какой-то хаотический набор звуков. И вот этот оригинальный писатель страдал запоем и уже за много лет до смерти писал в своем дневнике:

Почему это, как наяву, так и во сне, мысли мои невольно сосредоточиваются на печальных проявлениях сумасшествия. Беспорядочные идеи вырываются у меня из головы подобно крови, хлынувшей из открытой жилы...

К атмосферным явлениям Гофман был до того чувствителен, что на основании своих субъективных ощущений составлял таблицы, совершенно сходные с показаниями термометра и барометра. В продолжение многих лет он страдал манией преследования и галлюцинациями, в которых созданные им поэтические образы представлялись ему действительно существующими.

Знаменитый анатом Фодера отличался многими странностями: так, он часто уверял, что может приготовить хлеба на двести тысяч человек, пользуясь одной только простой печью, и обратиться в бегство какую угодно, хотя бы миллионную, армию при помощи сорока солдат. Лет в 50 он воспылил страстью к девушке, жившей на противоположной стороне улицы, и, чтобы вызвать взаимность в предмете своей любви, не нашел лучшего средства, как показаться ему совершенно голым, выйдя для этого на балкон. На улице он останавливался перед этой девушкой и любовался ею в немом восторге. Той наконец до того надоело это преследование, что она вылила ведро помоев на голову своего обожателя, который, однако, принял это не за оскорбление, а, напротив, за выражение любви и, совершенно счастливый, вернулся домой. Увидев на дворе цыпленка, Фодера нашел в нем большое сходство со своей возлюбленной, тотчас же купил его и начал ласкать и целовать. Этому цыпленку дозволялось все: пачкать книги, мебель, платье и даже садиться на постель.

Шопенгауэр наследовал, по собственному его сознанию, ум от матери, энергичной, хотя и бессердечной женщины, и притом писательницы, а характер – от отца, имевшего банкирскую контору, человека странного, мизантропа и даже липеманьяка, который впоследствии застрелился.

Шопенгауэр был тоже липеманьяк: из Неаполя его заставила уехать боязнь оспы, из Вероны – опасение, что он понюхал отравленного табаку (1818), из Берлина – страх перед холерой, а самое главное – боязнь восстания.

В 1831 году на него напал новый припадок страха: при малейшем шуме на улице он хватался за шпагу и трепетал от ужаса при виде каждого человека; получение каждого письма заставляло его опасаться какого-то несчастья, он не позволял брить себе бороду, но выжигал ее, возненавидел женщин, евреев и философов, в особенности этих последних, а к собакам привязался до того, что по духовному завещанию отказал им часть своего состояния.

Философствовал Шопенгауэр постоянно, даже по поводу самых ничтожных вещей, например своего громадного аппетита (философ был очень прожорлив), лунного света и пр.; он верил в столоверчение, считал возможным с помощью магнетизма вправить вывихнутую ногу у своей собаки и вернуть ей слух. Однажды его служанка видела во сне, что он вытирает чернильные пятна, а на утро он действительно пролил чернила, и

вот великий философ делает из этого такой вывод: "Все происходящее происходит в силу необходимости". На основании такой странной логики впоследствии была построена им замечательная по своей глубине система.

По своему характеру Шопенгауэр был олицетворенное противоречие. Признавая конечной целью жизни уничтожение, нирвану, он предсказал (а это равносильно желанию), что проживет сто лет; проповедуя половое воздержание, злоупотреблял любовными наслаждениями и, хотя сам выстрадал много от людской несправедливости, позволил себе, однако, без всякого повода жестоко оскорбить Молешотта и Бюхнера и радовался, когда правительство запретило им читать лекции.

Он жил всегда в нижнем этаже, чтобы удобнее было спастись в случае пожара, боялся получать письма, брать в руки бритву, никогда не пил из чужого стакана, опасаясь заразиться какой-нибудь болезнью, деловые заметки свои писал то на греческом, то на латинском, то на санскритском языке и прятал их в свои книги из нелепой боязни, как бы кто не воспользовался ими, тогда как этой цели гораздо легче было достигнуть, заперев бумаги в ящик; считал себя жертвою обширного заговора, составленного против него философами в Готе, согласившимися хранить молчание относительно его произведений, и в то же время боялся – заметьте это противоречие, – как бы они не стали говорить об этих произведениях.

Для меня легче, если черви будут есть мое тело, – говорил он, – чем если профессора станут грызть мою философию.

Чувства привязанности были ему совершенно незнакомы: он решился даже оскорбить свою мать, обвинив ее в неверности к памяти мужа, и на этом основании признал ничтожество всех женщин, у которых "волос долог, но ум короток". Несмотря на то, он отрицал моногамию и превозносил тетрагамию (четвероженство), находя в ней только одно неудобство... возможность иметь четырех тещ.

То же бессердечие заставляло его с презрением относиться к чувству патриотизма, которое он называл "страстью слепцов и самой слепой из страстей", и в народных восстаниях сочувствовать не народу, а солдатам, его усмирителям. Этих последних, а также свою собаку, он по духовному завещанию сделал даже наследниками своего состояния.

Исключительной и постоянной заботой его было собственное я, которое он старался возвеличить всеми способами, видя в себе не только основателя новой философской системы, но и вообще необыкновенного человека. В сотне писем упоминает он с удивительным самодовольством о своих фотографических и писанных масляными красками портретах и говорит даже об одном из последних: "Я приобрел его затем, чтобы устроить для него род часовни, как для священного изображения".

Николай Гоголь, долгое время занимавшийся онанизмом, написал несколько превосходных комедий после того, как испытал полнейшую неудачу в страстной любви; затем, едва только познакомившись с Пушкиным, пристрастился к повествовательному роду поэзии и начал писать повести; наконец, под влиянием московской школы писателей он сделался первоклассным сатириком и в своем произведении "Мертвые души" с таким остроумием изобразил дурные стороны русской бюрократии, что публика сразу поняла необходимость положить конец этому чиновничьему произволу, от которого страдают не только жертвы его, но и сами палачи.

В это время Гоголь был на вершине своей славы, поклонники называли его за написанную им повесть из жизни казаков "Тарас Бульба" русским Гомером, само правительство ухаживало за ним, – как вдруг его стала мучить мысль, что слишком уж мрачными красками изображенное им положение родины может вызвать революцию, а

так как революция никогда не останется в разумных границах и, раз начавшись, уничтожит все основы общества – религию, семью, – то, следовательно, он окажется виновником такого бедствия. Эта мысль овладела им с такою же силою, с какою раньше он отдавался то любви к женщинам, то увлечению сначала драматическим родом литературы, потом повествовательным и, наконец, сатирическим. Теперь же он сделался противником западного либерализма, но, видя, что противоядие не привлекает к нему сердца читателей в такой степени, как привлекал прежде яд, совершенно перестал писать, заперся у себя дома и проводил время в молитве, прося всех святых вымолить ему у Бога прощение его революционных грехов. Он даже совершил путешествие в Иерусалим и вернулся оттуда значительно спокойнее, но вот в Европе вспыхнула революция 1848 года – и упреки совести возобновились у Гоголя с новой силой. Его начали мучить представления о том, что в мире восторжествует нигилизм, стремящийся к уничтожению общества, религии и семьи. Обезумевший от ужаса, потрясенный до глубины души, Гоголь ищет теперь спасения в "Святой Руси", которая должна уничтожить языческий Запад и основать на его развалинах панславистскую православную империю. В 1852 году великого писателя нашли мертвым от истощения сил или, скорее, от сухотки спинного мозга на полу возле образов, перед которыми он до этого молился, преклонив колени.

Если после стольких примеров, взятых из современной нам жизни и в среде различных наций, найдутся люди, еще сомневающиеся в том, что гениальность может проявляться одновременно с умопомешательством, то они докажут этим только или свою слепоту, или свое упрямство